

БИБЛИОТЕКА ПРОЕКТА **БОРИСА АКУНИНА**

«ИСТОРИЯ РОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВА»

РЕДАКЦИОННО-ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ГРУППА
«ЖАНРОВАЯ ЛИТЕРАТУРА»

И

БОРИС АКУНИН

ПРЕДСТАВЛЯЮТ

БИБЛИОТЕКА ПРОЕКТА
«ИСТОРИЯ РОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВА»

- | | |
|--|--|
| ВАЛЕНТИН ИВАНОВ
Русь изначальная
Русь Великая | АЛЕКСЕЙ ЧАПЫГИН
Гулящие люди |
| ПАВЕЛ ЗАГРЕБЕЛЬНЫЙ
Евпраксия
Ярослав Мудрый | ВСЕВОЛОД СОЛОВЬЕВ
Царь-девица |
| АНТОНИН ЛАДИНСКИЙ
Голубь над Понтом | АНАТОЛИЙ БРУСНИКИН
Девятный Спас
Герой иного времени
Беллона |
| ВЕРА ПАНОВА
Сказание об Ольге | АЛЕКСЕЙ ТОЛСТОЙ
Петр Первый |
| БОРИС ВАСИЛЬЕВ
Вещий Олег
Владимир Красное Солнышко | ЕКАТЕРИНА II ВЕЛИКАЯ
Мемуары |
| ВАСИЛИЙ ЯН
Чингисхан
Батый | ЛЕВ ТОЛСТОЙ
Хаджи-Мурат |
| ИСАЙ КАЛАШНИКОВ
Жестокий век | СОФИЯ ШУАЗЁЛЬ-ГУФЬЕ
Исторические мемуары
об императоре Александре
и его дворе |
| ВАЛЕРИЙ ЯЗВИЦКИЙ
Иван III — государь вся Руси | А.П. ЕРМОЛОВ
Записки русского генерала.
1812 год |
| АЛЕКСЕЙ ЮГОВ
Ратоборцы | И.Д. ЯКУШКИН
Записки декабриста |
| ДМИТРИЙ БАЛАШОВ
Куликово поле
Степной закат | АДАМ ЧАРТОРЫЖСКИЙ
Мемуары |
| А.К. ТОЛСТОЙ
Князь Серебряный
Драматические произведения | Ю.Н. ТЫНЯНОВ
Кюхля
Смерть Вазир-Мухтара |
| ЛЕВ ЖДАНОВ
Царь Иоанн Грозный
Последний фаворит | В.М. ГАРШИН
Четыре дня |

БИБЛИОТЕКА ПРОЕКТА **БОРИСА АКУНИНА**

«ИСТОРИЯ РОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВА»

ВСЕВОЛОД ГАРШИН



ЧЕТЫРЕ ДНЯ



Издательство АСТ
Москва

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ РЯДОВОГО КВАЖОВА

1

Четвёртого мая тысяча восемьсот семьдесят седьмого года я приехал в Кишинёв и через полчаса узнал, что через город проходит 56-я пехотная дивизия. Так как я приехал с целью поступить в какой-нибудь полк и побывать на войне, то седьмого мая, в четыре часа утра, я уже стоял на улице в серых рядах, выстроившихся перед квартирой полковника 222-го Старобельского пехотного полка. На мне была серая шинель с красными погонами и синими петлицами, кепи с синим околышем; за спиною ранец, на поясе патронные сумки, в руках тяжёлая крынковская винтовка.

Музыка грянула: от полковника выносили знамёна. Раздалась команда; полк беззвучно сделал на караул. Потом поднялся ужасный крик: скомандовал полковник, за ним батальонные и ротные командиры и взводные унтер-офицеры. Следствием всего этого было запутанное и совершенно непонятное для меня движение серых шинелей, кончившееся тем, что полк вытянулся в длинную колонну и мерно зашагал под звуки полкового оркестра, гремевшего весёлый марш.

Шагал и я, стараясь попадать в ногу и идти наравне с соседом. Ранец тянул назад, тяжёлые сумки — вперёд, ружье соскакивало с плеча, воротник серой шинели тёр шею; но, несмотря на все эти маленькие неприятности, музыка, стройное, тяжёлое движение колонны, раннее

свежее утро, вид щетины штыков, загорелых и суровых лиц настраивали душу твёрдо и спокойно.

У ворот домов, несмотря на раннее утро, толпился народ; из окон глядели полураздетые фигуры. Мы шли по длинной прямой улице, мимо базара, куда уже начали съезжаться молдаване на своих воловьих возах; улица поднималась в гору и упиралась в городское кладбище. Утро было пасмурное и холодное, накрапывал дождик; деревья кладбища виднелись в тумане; из-за мокрых ворот и стены выглядывали верхушки памятников. Мы обходили кладбище, оставляя его вправо. И казалось мне, что оно смотрит на нас сквозь туман в недоумении. «Зачем идти вам, тысячам, за тысячи вёрст умирать на чужих полях, когда можно умереть и здесь, умереть покойно и лечь под моими деревянными крестами и каменными плитами? Оставайтесь!»

Но мы не остались. Нас влекла неведомая тайная сила: нет силы большей в человеческой жизни. Каждый отдельно ушёл бы домой, но вся масса шла, повинуюсь не дисциплине, не сознанию правоты дела, не чувству ненависти к неизвестному врагу, не страху наказания, а тому неведомому и бессознательному, что долго еще будет водить человечество на кровавую бойню — самую крупную причину всевозможных людских бед и страданий.

За кладбищем открылась широкая и глубокая долина, уходившая из глаз в туман. Дождь пошёл сильнее; кое-где, далеко-далеко, тучи, раздаваясь, пропускали солнечный луч; тогда косые и прямые полосы дождя сверкали серебром. По зелёным склонам долины ползли туманы; сквозь них можно было различить длинные, вытянувшиеся колонны войск, шедших впереди нас. Изредка блестели кое-где штыки; орудие, попав в солнечный свет, горело несколько времени яркою звёздочкою и меркло. Иногда тучи сдвигались: становилось темнее; дождь шёл чаще. Через час после выступления я почув-

становал, как струйка холодной воды побежала у меня по спине.

Первый переход был невелик: от Кишинёва до деревни Гаурени всего восемнадцать вёрст. Однако, с непривычки нести на себе фунтов двадцать пять — тридцать груза, я, добравшись до отведённой нам хаты, сначала даже сесть не мог: прислонился ранцем к стене да так и стоял минут десять в полной амуниции и с ружьём в руках.

Один из солдат, идя на кухню за обедом, сжалившись надо мной, взял и мой котелок; но когда он пришёл, то застал меня спящим глубоким сном. Я проснулся только в четыре часа утра от нестерпимо резких звуков рожка, игравшего генерал-марш, и через пять минут снова шагал по грязной глинистой дороге, под мелко сыпавшим, точно сквозь сито, дождиком. Передо мною двигалась чья-то серая спина с навьюченным на нее бурым телячьим ранцем, побрякивавшим железным котелком и ружьём на плече; с боков и сзади тоже шли такие же серые фигуры. Первые дни я не мог отличить их друг от друга.

Двести двадцать второй пехотный полк, куда я попал, состоял большею частью из вятских (вячких, как они говорили) и костромских мужиков. Всё широкие, скуластые лица, побуревшие от холода; серые небольшие глаза, белокурые, бесцветные волосы и бороды. Хотя я и помнил несколько фамилий, но кому они принадлежат — не знал. Через две недели я не мог понять, как я мог смешивать двух своих соседей: одного, шедшего рядом со мною, и другого, шедшего рядом с обладателем серой спины, бывшей постоянно перед моими глазами. Я безразлично называл их Фёдоровым и Житковым и постоянно ошибался, а между тем они были совершенно не похожи друг на друга.

Фёдоров, ефрейтор, был молодой человек лет двадцати двух, среднего роста, стройно, даже изящно сложенный. У него было правильное, будто выточенное лицо, с очень красиво очерченными носом, губами и подбород-

ком, покрытым белокурой курчавой бородкой, и с весёлыми голубыми глазами. Когда кричали: «Песенники, вперёд!», он бывал запевалой нашей роты и чисто выводил грудным тенором, на высоких нотах прибегая к высочайшему фальцету: «...Царя тре-е-буют в сенат!»

Он был уроженец Владимирской губернии, с детства попавший в Петербург. Что редко случается, петербургская «образованность» не испортила его, но только отшлифовала, научив, между прочим, читать газеты и говорить всякие мудрёные слова.

— Конечно, Владимир Михайлович, — говорил он мне, — я могу иметь рассуждения больше, чем дядя Житков, так как Питер оказал на меня своё влияние. В Питере цивилизация, а у них в деревне одно незнание и дикость. Но, однако, как они человек пожилой и, можно сказать, виды видевший и перенесший различные превратности судьбы, то я не могу на них орать, например. Ему сорок лет, а мне двадцать третий. Хотя я в роте и ефрейтор.

Дядя Житков — коренастый, необыкновенной силы мужик, всегда мрачного вида. Лицо у него было тёмное, скуластое, глаза маленькие, смотревшие исподлобья. Он никогда не улыбался и редко говорил. Он был плотник по ремеслу и находился в бессрочном отпуску, когда мобилизовали нашу армию. До чистой отставки ему оставалось всего несколько месяцев; началась война, и Житков пошёл в поход, оставив дома жену и пятерых ребятишек. Несмотря на непривлекательную наружность и вечную мрачность, в нем было что-то влекущее, доброе и сильное. Теперь мне кажется совершенно непонятным, как я мог смешивать этих соседей, но в первые два дня оба мне казались одинаковыми: серыми, навьюченными, уставшими и продрогшими.

Всю первую половину мая шли непрерывные дожди, а мы двигались без палаток. Бесконечная глинистая до-

— Что ж я сказал, Василь Карпыч? Нешто не иду! Помирать, так помирать... всё одно...

— То-то! Поговори еще!

Житков молчит; лицо его становится еще мрачнее. Да и всем вообще не до разговоров: идти было слишком тяжело. Ноги скользят, и люди часто падают в липкую грязь. Крепкая ругань раздаётся по батальону. Один Фёдоров не вешает носа и без усталости рассказывает мне историю за историей о Петербурге и деревне.

Однако всему бывает конец.

Однажды, проснувшись утром на бивуаке около деревни, где была назначена днёвка, я увидел голубое небо, белые мазанки и виноградники, ярко залитые утренним солнцем, услышал повеселевшие живые голоса. Все уже встали, обсушились и отдыхали от тяжёлого полуторанедельного похода под дождём без палаток. Во время днёвки привезли и их. Солдаты тотчас же принялись натягивать их и, устроив всё как следует, забив колышки и натянув полотнища, почти все улеглись под тень.

— От дождя не помогли, от солнышка сберегут.

— Да, чтобы личико у барина не почернело, — пошутил Фёдоров, лукаво подмигивая в мою сторону.

II

В нашей роте было всего два офицера: ротный командир — капитан Заикин и субалтерн-офицер — прапорщик Стебельков. Ротный был человек средних лет, толстенный и добрый; Стебельков — юноша, только что выпущенный из училища. Жили они дружно; капитан приголубил прапорщика, поил и кормил его, а во время дождей даже прикрывал под своим единственным гуттаперчевым плащом. Когда роздали палатки, наши офицеры поместились вместе, а так как офицерские палатки

были просторны, то капитан решил поселить с собою и меня.

Утомлённый бессонною ночью (накануне наша рота была назначена к обозу, и мы всю ночь вытаскивали его из рытвин и даже вывозили при помощи «Дубинушки» из разлившейся речки), я крепко уснул после обеда. Денщик ротного командира разбудил меня, осторожно трогая за плечо.

— Барин Иванов! Барин Иванов! — шептал он, как будто не хотел разбудить меня, а, напротив, всеми силами старался не нарушить моего сна.

— Что вам?

— Ротный требуют. — И видя, что я надеваю портупею со штыком, прибавил: — Они сказали: веди в чём есть.

В палатке Заикина собралась целая компания. Кроме хозяев, было еще два офицера: полковой адъютант и командир стрелковой роты Венцель. В 1877 году батальон состоял не из четырёх, как теперь, а из пяти рот; на походе стрелковая рота шла сзади, так что наша рота своими последними рядами соприкасалась с ее первыми. Мне приходилось идти почти между стрелками, и я уже несколько раз слышал от них самые дурные отзывы о штабс-капитане Венцеле. Все четверо сидели вокруг ящика, заменявшего стол и занятого самоваром, посудой и бутылкой, и пили чай.

— Господин Иванов! Пожалуйте, пожалуйста! — закричал капитан. — Никита! Чашку, кружку, стакан, что там у тебя есть! Подвинься, Венцель; пусть он присаживается.

Венцель встал и весьма любезно поклонился. Это был сухощавый, небольшого роста молодой человек, бледный и нервный. «Какие у него беспокойные глаза и какие тонкие губы!» — пришло мне тогда в голову.

Адъютант, не вставая, протянул мне руку.

— Лукин, — коротко отрекомендовался он.

Мне было неловко. Офицеры молчали; Венцель прихлёбывал чай с ромом; адъютант пыхтел коротенькой трубкой; прапорщик Стебельков, кивнув мне, продолжал читать растрёпанный том какого-то переводного романа, совершившего в его чемодане поход из России за Дунай и вернувшегося впоследствии в еще более растрёпанном виде в Россию. Хозяин налил большую глиняную кружку чаю и влил в него огромную порцию рому.

— Натек-ка, господин студент! Вы на меня не сердитесь: я человек простой. Да и все мы здесь, знаете, люди простые. А вы человек образованный; значит, должны нас извинить. Так, что ли? — И он своею огромною рукою схватил мою руку сверху, как хищная птица хватает добычу, и несколько раз потряс ее в воздухе, нежно смотря на меня выпученными и округлившимися маленькими глазами.

— Вы студент? — спросил Венцель.

— Да, бывший, господин капитан.

Он улынулся и поднял на меня беспокойный взор. Мне вспомнились солдатские рассказы, но в ту минуту я усомнился в их правдивости.

— Зачем это «господин капитан»? Здесь, в палатке, вы свой между своими. Здесь вы просто интеллигентный человек между такими же, — тихо сказал он.

— Интеллигентный, это верно! — закричал Заикин. — Студент! Люблю студентов, хоть они и бунтовщики. Сам был бы студентом, если бы не судьба.

— Какая ж такая у тебя особенная судьба, Иван Платоныч? — спросил адъютант.

— Да подготовиться никак не мог. Ну, математика еще туда-сюда, а уж насчёт другого чего — не идёт, да что хочешь. Словесность эта... Правописание... Так и в юнкерском училище писать не научился. Ей-богу!

— Пускай шер а канон, пускай по-французски. Капитан у нас умный, Владимир Михайлыч: языки знает и разные немецкие стишки наизусть долбит. Слушайте, юноша! Я вас затем позвал, чтобы предложить вам перебраться ко мне в палатку. Там ведь вам вшестером с солдатами тесно и скверно. Насекомые. Все-таки у нас лучше...

— Благодарю вас, только позвольте отказаться.

— Это отчего? Вздор! Никита! Тащи его ранец! Вы в которой палатке?

— Вторая с правой стороны. Только все-таки позвольте мне остаться там. Мне ведь с солдатами больше бывать приходится. Лучше уж совсем с ними.

Капитан внимательно посмотрел на меня, как будто бы хотел прочитать мои мысли. Подумав, он сказал:

— Вы что же, в дружбе с ними состоять хотите?

— Да, если это будет возможно.

— Верно. Не перебирайтесь. Уважаю. — И он сгрёб своей ручищей мою руку и начал трясти ее в воздухе.

Немного времени спустя я распрощался с офицерами и вышел из палатки. Вечерело; люди одевались в шинели, готовясь к зоре. Роты выстроились на линейках, так что каждый батальон образовал замкнутый квадрат, внутри которого были палатки и ружья в козлах. В тот же день, благодаря днёвке, собралась вся наша дивизия. Барабаны проббили зорю, откуда-то издалека слышались слова команды:

— Полки, на молитву, шапки долой!

И двенадцать тысяч человек обнажили головы. «Отче наш, иже еси на небеси», — начала наша рота. Рядом тоже запели. Шестьдесят хоров, по двести человек в каждом, пели каждый сам по себе; выходили диссонансы, но молитва все-таки звучала трогательно и торжественно. По-немногу начали затихать хоры; наконец далеко, в батальоне, стоявшем на конце лагеря, последняя рота пропе-

ла: «...Но избави нас от лукавого». Коротко пробили барабаны.

— Накройсь!

Солдаты укладывались спать. В нашей палатке, где, как и в других, помещалось шестеро на пространстве двух квадратных сажен, мое место было с краю. Я долго лежал, смотря на звёзды, на костры далёких войск, слушающая смутный и негромкий шум большого лагеря. В соседней палатке кто-то рассказывал сказку, беспрестанно повторяя слова «наконец того», произнося не «тово», а «того».

— Наконец того, приходит тот принц к своей супруге и начал ей про все выговаривать. Наконец того, она... Лютиков, спишь, что ли?.. Ну, спи, Христос с тобой, Господи, Царица Небесная... Преподобных отец наших... — шепчет рассказчик и стихает.

В офицерской палатке тоже говор. По освещённому изнутри полотну двигаются огромные и уродливые тени сидящих в палатке офицеров. Изредка слышен взрыв хохота: это заливается адъютант. По линейке ходит туда и сюда часовой с ружьём; напротив нас, на бивуаке недалеко стоящей артиллерии, тоже часовой, с обнажённой пашкой. Оттуда изредка слышен топот лошадей у конюшней, их фыркание, слышно, как они мирно жуют овёс, с таким же добродушным шурханьем, какое мне случилось слышать не на войне, а где-нибудь на постоялом дворе на родине, в такую же тихую звёздную ночь. Семь звёзд Большой Медведицы блестели низко над горизонтом, гораздо ниже, чем у нас. Смотри на Полярную звезду, я думал, что именно в этом направлении должен быть Петербург, где я оставил мать, друзей и все дорогое. Над головою блестели знакомые созвездия; Млечный Путь не тускло светился, а сиял ясною, торжественно-спокойною полоскою света. На юге какие-то большие звезды незнакомого, не видимого у нас созвездия горели, одна красным,